

СВЕЧА НА ВЕТРУ

Рассказ

Мне кажется, самый большой труд, который может взять на себя человек, — не погрешить против интонации существования. Я родился в 1909 году, и мы прошли все ужасы безвременья. Папа, служивший морским офицером, еще до революции был вынужден срочно уехать в Париж. Вскоре мы с мамой — не без трудностей — последовали за ним.

Моя Россия была очень маленькая. Она лежала, теснилась у меня в груди бесконечным простором. Все, что я запомнил, были картины природы, и почти ничего больше. Просыпающаяся листва, полупрозрачная, как дым, в щедрых солнечных лучах, как в любящих руках. Ею так нежно светился зимний сад. А потом ее тревожный, широкий, темно-зеленый гул перед грозой. И вдруг — хрустальный предсентябрьский день, когда в осиротевшем воздухе не слышно ни птиц, ни комаров, и отдыхающее поле, на которое низвергается еще теплое, еще глубокое небо. И вот это небо заволакивает огромная, вполмира, туча; под ледяным навесом стынет даль, и мягко опускается снег на благословенную землю, на уже выхолодившееся поле...

Как здорово быть ребенком! Как прекрасна, словно ясный день, младенческая совесть! Все мое детство — это одно сплошное Рождество. В Петербурге Рождество встречали радостно, даже дурашливо, точно пух из подушек вытряхивали. Все бегали, кричали, можно шалить, обязательно шел снег... На елке трубили золотые бумажные ангелы, и звезды, опутанные серебряным дождем, напоминали соль — хотелось коснуться их языком.

В рождественскую ночь дома были только свои: отец, мать, тетя — папина сестра — и я. Тетю звали каким-то сказочным именем: Ангелина. В моем отношении к ней было что-то чистое и торжественное. Я считал, что люблю тетю больше, чем родителей. Правда, когда я говорил об этом вслух, все смеялись. В отличие от строгого отца и матери, тетя была непосредственная, даже взбалмошная, с какой-то особой гордостью, исключавшей любое унижение. Приходя к нам, она будто вносила свое имя в дом, перевязанное ленточкой, как подарок. Дом погружался в особое, ни с чем не сравнимое настроение. Все срывались с мест, возбужденно сновали туда-сюда, громко разговаривали, и мне всякий раз казалось, будто наступил мой день рождения. Я ждал тетиного внимания, как ждут торт со свечами, неожиданно возникающий в разгар празднества и плывущий во тьме гостиной, озаряя радостные лица домочадцев, прямо к центру стола, который оказывался одновременно и центром комнаты, откуда пляска огней разливалась на все предметы вокруг, так что только мир за окном оставался темным...

В Париже праздники проходили без прежнего веселья. Наряжалась елка, но вместо стеклянных небьющихся груш вешали хрупкие шары, поэтому с елкой все держались почтительно и обходили ее десятой дорогой. В гости никого не звали — звать было некого. И я уже так не радовался сладостям и шоколаду — повзрослел.

Особое настроение, царившее в нашей семье, незаметно исчезло. Отец работал в пропитанном запахами бензина таксомоторе. После службы на стройном готическом лайнере, где все было подчинено высшей цели, он долго не мог избавиться от своей офицерской гордости. Была та же радость, но уже не житейская, а космическая, как на холодных вершинах, как перед гибелью, с легким отзвуком обреченности.

В школе, где я учился, меня доставала задиристая ребятня, а я не умел драться и не умел быть битым. Никогда в жизни я не испытывал так много страха и боли, и физической, и душевной, как тогда. Я страдал оттого, что я не дома, не в России. Мне казалось, что если бы меня били свои мальчишки, русские, я бы мог с ними разобраться даже без помощи кулаков. Меня спасал дом. Именно там, глядя, как папа заботится о маме, я чувствовал себя уютно и в безопасности. Какая бы ситуация ни возникала, отец действовал спокойно, взвешенно, был очень предупредительный, и прежде, чем что-то сказать, сто раз обдумывал, чтобы чем-нибудь не огорчить собеседника.

Неповторимая аура, окружавшая нашу семью, конечно, очень помогала мне и во многом меня сформировала. В доме существовали многочисленные табу: этого нельзя делать, так ты не будешь поступать никогда. Все это касалось, в основном, моральных качеств. Но никогда в жизни родители не навязывали свою точку зрения настолько, чтобы я вынужден был принимать готовое решение, связанное с моей жизнью, с моим выбором. В основном, это шло от отца, в очень многом — от матери.

Именно мама строила, «ткала» дом. Она никогда не подпускала к себе слишком близко тех, кто мог отнестись к ней фамильярно, но держала эту дистанцию с достоинством и очень корректно. Мама никогда не выходила из своей комнаты непричесанная. И всегда, без всякого макияжа, выглядела аккуратной, лучшей — то, что в России называют «прибрана». В ходу у нее была замечательная фраза: «Значит, так надо». Придешь к

ней жаловаться — что-то не получается, обидели, — а она: «Значит, так надо!» И добавляла: «Ни в коем случае не обижайся. Если тебя не хотели обидеть, ты всегда сможешь простить, если же обидели намеренно — не доставляй удовольствия обидчику ответной обидой».

Отец и мать у меня были одинаково религиозны. В школе, среди прочих предметов, мы изучали Закон Божий (в России этого уже не делали), и родители в первую очередь интересовались оценками по Бытию, Исходу, Числам и радостным Евангелиям. За неуспехи и шалости никто меня не бранил, но это было еще хуже, чем если бы меня ругали или били, ведь дети обычно чувствуют вину и боятся разрушить хрупкий мир покоя, окружающего их. Злым папу я никогда не видел; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. При этом отец был более несчастлив, чем мама. «Счастье, — любил цитировать он кого-то, — есть ловкость ума и рук; все неловкие души несчастливы».

По воскресеньям мы ходили в русскую церковь. Бумажные образа, иконостасы из фанеры, недостаток свечей — вот что ожидало нас там. Церковь была очень бедная, но в этой бедности жил Живой Бог. Мне не забыть лицо отца, когда он, в мерцании свечей, читал покаянный псалом — «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Он делал это так искренне, что вскоре у него по лицу начинали течь слезы. Я поражаюсь тому, что он не стесняется своих слез. И в чем было каяться этому человеку? — думал я. Он и так бесконечно любил нас всех. Мне кажется, именно благодаря отцу я прожил жизнь именно так, а не иначе. Он оставил в моем сознании память о себе, вдохнул в меня тепло, которое я должен был пронести через весь двадцатый век.

Сам я в церковь ходил неохотно — то ли детское упрямство было тому причиной, то ли запах: не свечей или благовоний, но запах трапезной, выворачивающий душу. Это был запах тошноты, причем, как мне казалось, в первую очередь, тошноты духовной. Я не мог обмануть природную брезгливость, и мне было так же трудно переступить порог храма, как перешагнуть через себя. Корабль храма представлялся мне продолжением трюма-трапезной. Казалось, что и во время службы, в самом зените богослужения, идет здесь святочное застолье, а в подрясниках да камилавках батюшек запутался кухонный запах щей. Увы, эта метафора — голодной кухни — долгое время мной кощунственно распространялась и на церковную утварь, церковное искусство, книги, весь литургический уклад.

Было время, когда мама стала носить широкие длинные платья. В один день мы пригласили фотографа, и я помню большие, благословляющие руки отца, которыми обнял он круглый мамин живот. Скоро у меня родился братик, но не прожил и нескольких недель — умер от воспаления легких. Помню похороны, маленький гробик, чем-то похожий на колыбель, который опускали в разинутую, как огромный рот, яму...

После школы я поступил в медицинский институт, отучился там шесть лет. Сразу после выпуска мы сыграли свадьбу. Моя жена тоже русская, ее родители переехали в Париж еще в девятьсот пятом году. Их не стало в начале двадцатых. Умерли они почти одновременно. Причиной смерти было то, что на Западе называют «русской тоской»: ностальгия.

Все мы зажили под одной крышей, но счастье длилось недолго — вскоре умерла мама. У нее обнаружили болезнь, оперировали, но unsuccessfully. В это никто не хотел верить. Маму привезли домой, отец день и ночь сидел у постели, держа ее за руку. В этом не было никакого пафоса, ничего показного, для отца это была обычная, можно даже сказать, обыденная забота. Казалось, он знает какую-то тайну.

Приглашенный священник только поцеловал больную маму, а говорил очень мало. Это был самый лучший, самый добросовестный священник, которого я встречал на своем пути. Он говорил, коверкая слова, как будто его речь, с чуждым французским акцентом, сама была нездорова.

Священник поцеловал маму, и тем выполнил все предначертания церкви, ведь церковь — безмолвна. По крайней мере, она должна быть безмолвна. Разве поцелуй для больного, напутствуемого — не слово? И слово, и дело. Поцелуй заменяет слово, он богаче слова, бесконечнее и неопределеннее слова: как музыка...

Хоронили маму почти неделю спустя после ее смерти. Утром, перед отпеванием, я вошел в комнату, чтобы провести с ней напоследок несколько минут. Я впервые заметил признаки тления на руках и лице. Меня глубоко ранило, что этих рук, которые я так любил, этого лица больше не существует, что они разрушаются. Первое мое движение было — отвернуться и не смотреть; отвернуться не от моей матери, но отмахнуться от самой смерти.

Могилу копали два француза в старых, стоптанных сапогах. Был сильный ливень, и они то и дело поскользывались на размокшей глиняной почве. Папа стоял неподвижно, руки в карманах пальто, и взгляд его перебежал с одной пары сапог на другую, как будто в этих сапогах заключались ответы на все вопросы. Принесли гроб, наскоро сбитый, некрашенный, и поставили у края ямы. В свежевырытой могиле было на четверть воды. Быстро опустили на веревках гроб, послышался всплеск. Комья глины застучали по крышке, гроб дрожал, вода брызгала на стены. Монотонно, быстро двигались, как весла, две лопаты...

Мы остались без мамы, и вся колоссальная любовь отца, вся сила, с которой он умел любить, обрушилась на мою жену. Он осыпал ее подарками, вниманием, всячески за ней следил. Со мной он был строг и требователен, постоянно повторял, что за жизнь и здоровье жены и детей всецело отвечает муж, что на моей совести лежит все, что случается в семье. Еще он просил при первой же возможности уезжать в Россию.

В один из дней ему стало нехорошо, он прилег. Ночью мне сообщили, что отец умер. Я вернулся из больницы, где работал в ночную смену, вошел в его комнату и закрыл за собой дверь. Стройно, красиво отец лежал в глубоком безмолвии, окружавшем его. Это был последний урок хороших манер, выправки, осанки. Я вдруг почувствовал, что все рушится. Со смертью отца рушился тот дом, который он построил. Свою огромную, щедрую любовь он унес — куда? Неизвестно. И тут, стоя в этой комнате, наедине с безмолвным, успокоившимся телом отца, я ощутил такое качество и глубину молчания, которое не было просто отсутствием звука. Это была какая-то вещественная, сущностная тишина.

Стоял октябрь 39-го. Уже началась война. Исход ее был неясен. Это было огромное потрясение для всех. Я работал в госпитале, где недоставало шприцов, пинцетов, лекарств, не было даже перчаток, мои руки были всегда в крови. Однажды я видел, как умирал мужчина средних лет. Он пролежал в госпитале больше года и уже хотел умереть. По мере того, как жизнь уходила из него, его лицо, изрезанное морщинами от бесконечных страданий, постепенно разглаживалось, как будто кто-то проводил по нему утюгом. Когда он перестал дышать, оно стало похоже на простыню. Покой и безмятежность отразились на нем.

Война заново открыла для меня мир. Я стал замечать иные вещи, иные краски. Вот бомбежка, я лежу в траве, вжавшись в землю, и тут вижу: два муравья под моим носом ползут и тащат соломинку. Наверное, тогда в моей жизни свершилось что-то очень важное... Ну, как это объяснить, как передать словами, когда лежишь, ждешь смерти, которая может обрушиться каждую минуту, и вдруг — строительство!

В конце войны Париж переходил из рук в руки. Пять дней город был занят немцами, но в воздухе уже висела победа. Это были страшные дни, потому что расстреливали без предупреждения. Было несколько мгновений, когда я полностью потерял контроль над собой. Стояла зима. Я забрался под мост, чувствуя себя, как черепаха, как кусочек мяса под мерзлым бетонным панцирем. В это время сверху проходила огромная колонна военнопленных русских. Гнали тысяч тридцать моих соотечественников. Когда они шли, я молил Бога, чтобы сохранил мне жизнь, хотя внутри подыхал от ужаса. И вдруг справа увидел: спускаются сапоги немецкие. Почему немецкие? Потому что у немецких офицеров высокий каблук. Зачем спускаться офицеру с парабеллумом в руке? Для чего ему идти на лед Сены, где под мостом, за столбом, стою я? Он шел с совершенно определенной целью — проверить, нет ли кого под мостом. И вдруг он на своих высоких каблуках поскальзывается, падает и на четвереньках ползет назад.

Раздражение этого человека было так велико, что, выбравшись на твердый снег, он поднял автомат и открыл огонь по колонне военнопленных. Там, наверху, погибали русские, а я стоял за бетонной опорой и ничем не мог помочь. У меня не было ни пистолета, ни гранаты, ничего. И стоя так, без оружия, в городе, где все были вооружены, я вдруг почувствовал себя так, словно у меня не было права на жизнь. Небеса закрылись для меня, и распахнулось огромное, протяжное, как вой, всечеловеческое одиночество. Одним росчерком автоматной очереди в небытие уходили люди, десятки людей... Это было так же дико, как если бы некий сверхточный механизм запрограммировали на демонтаж, как если бы целью только что рожденных людей оказалась бы немедленная смерть.

Алеша появился на свет как раз в день фашистской капитуляции. Через несколько дней медсестры показали мне маленькое чудо — моего малыша. Показали только носик, укутанный в белое, и краешек лба — боялись сквозняков. Я хотел поцеловать его, склонился, сгорбился и... не смог. Я даже дышать боялся. В длинном коридоре обнял Анну, пахнувшую молоком, и так стоял с ней, пока ее не позвали обратно.

Ребенок был хорошенький, размером с большую ложку. Скоро я забрал их обоих домой. Малыш быстро уснул, а мы принялись стирать пеленки. Белые, еще почти нетронутые, они напоминали паруса или ангельские знамена. И пахли, как духи, нежным запахом, на весь дом.

Какая непостижимая тайна — появление на свет маленького человека, из дуновения, из «ничего»! Что-то важное приходит в мир в виде хрупкого, беспомощного ребенка, которого мы, взрослые люди, должны беречь и растить. Разве это не чудо?

Вот я подхожу к кровати и долго стою не двигаясь. Передо мной, в тонкой капсуле из пеленок, как фараон или царь, лежит маленький человек. Он не издает ни звука, даже не сопит, воздух вокруг него кажется сгущенным и неподвижным. В маленькую кровать с трудом могла поместиться рука взрослого человека, и все же там было больше мира, чем в мире взрослых.

Почему-то именно сейчас, когда, казалось, самое страшное позади, наступило время какого-то душевного помешательства. Люди бросались друг другу в объятия прямо на улице, их лица искажались страшными гримасами плача. Крайние степени щедрости и жестокости встретились, сомкнулись в кольцо. Тех, кто сотрудничал с немцами, вылавливали и линчевали. Такой человек был и в нашем квартале, его поймали, одели в шутовскую одежду, сбрили волосы с половины головы. Я видел, как он шел, окруженный ненавидящей толпой. Этот человек был, безусловно, плох, безусловно, преступен, суд над ним был справедлив. Не знаю почему, но мне вдруг стало жалко его, жалко, как собственного ребенка. Я понял, что зло — это цепная реакция, где одна жестокость влечет за собой другую, уже оправданную.

Хотя Париж по-прежнему нуждался во врачах, устроиться в госпиталь для русского было почти невозможно: хватало своих. Мне повезло. Когда-то, рассматривая старые карты, я обнаружил в нашей местности